

«Родился я 1 ноября 1917 года в старинном балкарском ауле Верхний Чегем, затерянном в верховьях сурового и красивого Чегемского ущелья, на границе Балкарии со Сванетией. Предки наши жили здесь издавна. Мой отец, Шува, как и дед Хаджиби, был скотоводом и охотником. Моя мать, Узеирхан, происходила из аула Жуунгу, расположенного высоко под облаками, среди зеленых гор в одном из разветвлений того же Чегемского ущелья. В детстве я бывал там и некоторое время жил в ауле матери. Я помню, что туда по узенькому ущелью не могла подняться даже воловья арба. Из города и долины все необходимое привозили сюда только на лошадях, мулах и осликах. Здесь на зеленом склоне горы находились два аула — Нижний и Верхний Жуунгу. Во втором жили в основном родичи моей матери — Бечеловы, люди спокойные, не в пример Кулиевым — горячим наездникам и метким стрелкам, большим любителям оружия. Бечеловы в большинстве своем были работающие люди. Стада их паслись на зеленых пастбищах над аулом, где летним днем по нагретой солнцем траве скользили тени облаков и орлов. Там я впервые со своими двоюродными братьями ловил лошадей и скакал на них.

Теперь этих аулов по существу уже нет. Сейчас там стойбища пастухов. Проезжая в Верхний Чегем, я часто вижу горы Жуунгу, летом зеленые, зимой белые от снега, вижу речку, которая, как в моем детстве, бежит вниз по узкому ущелью, вижу тропинку, по которой я мальчиком поднимался в аул матери и спускался оттуда верхом на маленькой лошадке. По этой же тропе везли мою мать замуж в Верхний Чегем — к моему отцу. Когда я приезжаю в Чегемское ущелье, меня обступают воспоминания. От них и сладостно и горько. Мне здесь дорог каждый камень, дерево, тропинка, родник. Здесь проходили дорогие мне люди — мой отец, моя мать, братья, которых я больше никогда не увижу. Каждый раз мне кажется, что следы от их ног остались навек на этих тропах, словно их не могли смыть дожди многих лет. Здесь я впервые увидел снег на горе и дождь над отцовской саклей, облака над дорогой, звезды над аулом, лунный свет на скалах, рассвет в окне, закат на белых хребтах, похожий на цвет зрелого кизила, будто сказочный великан залил снега красным вином. Здесь на коленях матери, прижавшись к ее теплой груди, я засыпал счастливым детским сном. Все у меня отсюда — жизнь и песня. Чегем — мое начало, мой исток. Здесь я сложил первый свой стих, сложу и последний.

Люди моего рода, Кулиевы, были узденами — свободными горцами. Это значит — они не служили никому и им не служил никто, жили своим трудом.

Верхний Чегем со всех сторон обступают высокие горы и разноцветные скалы. Под аулом с юга на север мчится река Чегем, а с запада на восток с гор Илькарги несется

речка Жилги — приток Чегема. Сакли отца и его братьев находились в некотором отдалении от аула, на берегу Жилги, прямо у темно-рыжих, очень мощных скал, и представляли собой замкнутый ансамбль с единым двором и воротами. В одной из дедовских саклей, что возле ворот, сохранилась даже башня с бойницей. Врагов у жителей гор было достаточно, и жизнь их вынуждала быть не только пахарями и пастухами, но и воинами одновременно. Мои родичи выбрали это место, должно быть, потому, что отсюда удобно и близко было ходить на охоту, легче дотащить убитую дичь. Они жили среди скал и были замечательными скалолазами и меткими стрелками. Может быть, до сих пор я единственный из Кулиевых не признаю охоту. Убивать животных ради забавы, как это часто делается ныне, я считаю злым делом. И сейчас охота любимое дело моих племянников.

Быть богатыми Кулиевы не могли — земля наша скупая, но, видимо, и особой нужды тоже не знали.

Мои первые детские впечатления связаны с суровым обликом взметнувшихся к облакам скал, белизной снега на вершинах и склонах. Весной и летом внизу зеленели луга, деревья и огороды, а на горах белел снег. Такими остались в моих глазах навсегда утра, полдни, вечера в Чегеме. Мое детство до сих пор приходит ко мне во сне с лошадьми, мулами, осликами. Потому они так часто встречаются в моих книгах. И острое чувство белизны снега осталось у меня с тех дней. На равнине снег исчезает весной, и до следующей зимы равнинные жители не видят его. А у нас лето и зима не растаются никогда. Горцы постоянно видят белизну вершин. Горские мальчики обычно, едва начав ходить, просили посадить их на ослика. С этого начиналась их самостоятельная жизнь. Так было и со мной.

Первая жена моего отца умерла, оставив ему четырех сыновей и двух дочерей. Моя мать была его второй женой. Она родила отцу дочь и двух сыновей. Старше меня мальчик умер совсем маленьким еще до моего рождения. Семья была большая, и жить, мне думается, было нелегко. Но отец — энергичный, смелый, волевой человек, видимо, не очень унывал и не боялся трудностей существования. Это подтверждала мать, об этом говорили мне братья отца, все наши родичи.

В горы пришла гражданская война. Мой отец, конечно, не был революционером. Но его не могли не заинтересовать и увлечь лозунги Октябрьской революции о том, что земля будет принадлежать всем крестьянам, люди станут равноправными, не будет богатых и бедных. К тому же Шува был горячим, увлекающимся человеком. Мой отец и его племянник Такуш Кулиев пошли сражаться в ряды горских партизан против белоказаков Деникина, когда те ворвались в Чегемское ущелье. После тяжелых боев партизанам пришлось временно отступить за горы — в Сванетию. В пути Такуш погиб, настигнутый снежным обвалом, а Шува заболел тифом и вскоре умер. Это было в девятнадцатом году. Мне было тогда два года. Отца, конечно, не помню. Я никогда не видел его даже

на фотографиях. Их у него не было. Когда мой старший сын Эльдар был маленьким, он меня спрашивал, каким был дедушка. Но я и сам знал его только по рассказам матери и близких. Мальчик просил показать фотографию. Я невольно обманул сына — показал ему портрет осетинского поэта Коста Хетагурова в черкеске и с кинжалом. Мне больше ничего не оставалось.

Когда умер отец, мы с сестрой, которая старше меня года на три, остались с матерью. Понятно, как нелегка была наша жизнь. Мама вечерами часто плакала, сидя с нами у очага. Может быть, драматизм моих стихов отсюда и берет свое начало. Мать была работающей крестьянкой. Она сумела нас вырастить, послать в школу, несмотря на все трудности. Ее доброта, терпеливость и трудолюбие стали первым значительным жизненным уроком для меня. Она умерла в 1963 году. Вот тогда-то я, сорокапятилетний мужчина, почувствовал себя настоящим сиротой.

Как и полагалось в горах, я совсем маленьким пас овец, коров, телят, возил дрова на ослике и на воловьей арбе, косил сено, пахал — до семнадцати лет делал все, что делает крестьянин в горах. Мать всегда жалела, что мне, такому еще маленькому, приходилось работать слишком много. Но теперь я понимаю, что оно было к лучшему. Это закалило меня надолго, научило уважать работающих людей, навсегда связало с землей, подготовило для более трудных дел и времен. Я рад тому, что рос среди чегемских крестьян, этих по-своему мудрых и трудолюбивых людей. Они были моими первыми учителями жизни. Еще мальчиком я ездил верхом замечательно. Меня сажали на необъезженную лошадь без седла, и я объезжал ее. Не было случая, чтоб я упал. Меня прозвали «Шкура коня».

Так я рос в горах, окруженный умевшими работать горцами и заботами матери. В 1926 году один из старых коммунистов повел меня, взяв за рукав, в только что открывшуюся школу аула Нижний Чегем. Я впервые увидел книжки. Получил букварь с красивыми картинками и тетрадки. Это было замечательно. Мои тогдашние чувства я старался выразить в «Горской поэме о Ленине». Зимой я учился, а летом занимался крестьянским трудом. Русскому языку нас обучал старый учитель Борис Игнатьевич, пожилой милый человек в чеховском пенсне. Слова благодарности ему читатель найдет в той же «Горской поэме» и в более раннем моем стихотворении «Учитель Борис Игнатьевич». Но тогда я не понимал, каким благом станут для меня его уроки, не знал, что русский язык откроет мне свои несметные сокровища и я приобщусь к великой русской литературе — от Пушкина до Твардовского, от Толстого до Паустовского. Об этом в моей «Горской поэме» сказано:

А годы шли, как ливни по хребтам
Идут и переваливают горы.
И в новых школах открывались нам
Иного мира солнечные створы.

И в первом классе, праздником даря,
Мне дал учитель книгу и тетрадки.
И даже в снах картинки букваря
Рассматривал, листая по порядку.
О книга книг! Утеха из утех!
В душе моей она жива навечно,
Всех книг открытей и красивей всех.
Я ей навек признателен сердечно.

О первый день литого сентября,
Парча чинар и холодок ракиты,
Лет паутинок первых! С букваря
Все книги мира предо мной открыты.

Простор дорог открылся вместе с ним.
По тем путям, как озаренья миги,
Летели в мир из каменных теснин
Мои стихи и собственные книги.

Борис Игнатьевич! От души моей,
Открытой миру Вашей доброй силой,
Я этот стих, как песню соловей,
Оставляю вам над вашей могилой.

Я любил петь с детства, жил в атмосфере народной песни и сказки. Пели чабаны, косари, каменотесы, всадники в пути, девушки, копающие огород. Я был маленьким ашугом, пел своим товарищам и взрослым девушкам, да и на свадьбах тамада, усадив меня рядом с собой, просил петь. И теперь, когда я знаком с образцами мировой поэзии, все равно народная лирика остается для меня дорогой и непостижимо прекрасной.

Думаю, что она дала мне много. Создателей многих горских песен считаю великими безымянными поэтами. Слагать стихи я начал рано — лет с десяти. А в семнадцать печатался. Об этом сейчас сожалею. Не надо так рано выступать в печати. Это вредно. Учась в нальчикском техникуме, я заполнял толстые тетради стихами. Они казались мне замечательными. Если не печатали, обижался. Наверное, не со мной одним так происходило. А стихи мои, разумеется, в подавляющем большинстве, были слабые, несамостоятельные.

Мне не было и восемнадцати лет, когда я приехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Луначарского (ГИТИС). Быть артистом я не собирался. К тому времени уже окончательно решил стать поэтом — твердо, без сомнений верил в свои способности, в свою звезду. Я тогда нисколько не боялся слова «поэт», не понимая трудного и глубочайшего его смысла. Нынешних сомнений у меня тогда не было и не могло быть. Читал я, правда, уже много, русский язык знал прилично. Моими любимыми поэтами в ту пору стали Лермонтов и Есенин. Собственно говоря, и до сих пор остаюсь верным этой любви. Пристрастие к Лермонтову одобряли, за Есенина корили. Теперь у меня, конечно, гораздо больше любимых поэтов. Образцом поэта считаю Пушкина, хотя по-прежнему люблю и Лермонтова.

Думаю, что мое поступление в ГИТИС было удачей. По своим склонностям я мог учиться только в гуманитарном учебном заведении. А другого института с таким широким профилем, где бы изучались все области искусства и культуры, не было. Там, например, я прошел курс истории мировой музыки и живописи. Для меня это было откровением. Нам преподавали лучшие профессора и деятели искусства. Запомнились забота и внимание директора института Анны Никитичны Фурмановой. Я ведь писал и одно время совсем собрался уйти в Литературный институт, который в то время был вечерним. Но Анна Никитична уговорила меня, объяснив, что для моего культурного развития занятия в ГИТИСе гораздо полезнее. И правильно сделала. При этом она разрешила не ходить на те занятия, которые меня не интересовали, такие, как ритмика, танец, сценическое движение, чтобы я мог посещать и Литинститут. Учась в ГИТИСе, я смотрел все лучшие спектакли московских театров, посещал концерты, выставки живописи.

В годы занятий в Москве я перевел на балкарский язык три пьесы — «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Проделки Скапена» Мольера, «Бронепоезд» Вс. Иванова. Их с успехом ставил наш театр, хотя, мне думается, переводы мои были далеко не совершенны. Недавно я перевел «Отелло». Это, наверное, сделано уже лучше.

Артистом я не стал. Вернувшись в Нальчик, год преподавал литературу в институте. Весной 1940 года вышла моя первая книга стихов «Здравствуй, утро!». Теперь в ней больше всего мне нравится название. От него не отказываюсь и сейчас. От многих же стихов сборника с удовольствием отказался бы, да сделанного не воротишь. Рукопись моя лежала в издательстве три года. Ее бурно обсуждали в Союзе писателей

республики еще летом 1937 года. При всей слабости, риторичности многих стихов, видимо, были в ней вещи, которые несли какую-то непривычную для балкарской поэзии тех лет новизну. Должно быть, поэтому споры были столь долгими. Помнится, некоторые мои старшие товарищи протестовали как раз против тех сторон моей работы, которые я старался развивать в дальнейшем и стараюсь сейчас. Мне хотелось назвать радостное радостным, горькое горьким, передать свои ощущения эмоционально и образно. И сейчас удастся это мне в какой-то степени с трудом, а тогда лишь в редких случаях мог я добиться художественности в более или менее серьезном ее понимании. Именно эти стихи и не принимались. Были горькие, несправедливые упреки и обвинения. Мои критики ругали меня, к сожалению, не за то, что надо было критиковать беспощадно — за присутствие в моих стихах жалкой риторики. Этого никто вовремя не подсказал мне, пока я сам не добрался ошупью до истины и с горечью понял свои заблуждения. Я слишком много декламировал вместо того, чтобы говорить просто, как положено нормальному человеку. Мне тогда казалось, что чем громче говоришь, тем речь становится эмоциональней, а стихотворец более гражданским поэтом. В этом отношении я не был одинок. В те годы очень многих одолевала риторика и славословие. Это было нашим несчастьем. А над несчастьем стыдно смеяться. Только потом я понял, как просто говорила моя мать.

Несмотря на незрелость стихов, написанных до 1940 года, все же среди них есть вещи, которые дороги мне. В зрелые годы я написал немало стихотворений, продолжающих линию тогдашних моих находок. Я имею в виду «Песенку горной речушки», «Песенку мальчика, едущего на ослике», «Снежок», «Во дворе» и ряд других. Справедливости ради должен отметить, что такие стихи не находились в русле поэзии того времени и я, как автор их, в те годы был почти одинок в балкарской поэзии. Потому-то и нападали на меня некоторые из моих товарищей. Но я рад тому, что написал эти стихи. Они оправдали мои поиски тех лет и стали как бы истоком всей дальнейшей моей работы, связав ее со всем мне родным в жизни, с фольклором, а также с традициями русской и общеевропейской поэзии.

Каждый литератор имеет свою меру для всего. И пусть останутся на совести моих критиков тех лет все беспочвенны требования. Нас рассудило время.

Как бы хорошо ты ни знал другие языки и достижения литератур других народов, главным являются образцы, созданные на родном языке. Их в нашей молодой балкарской литературе почти не имелось. Можно было опираться только на народную поэзию. Правда, еще жил наш прославленный в горах поэт Кязим Мечиев. Его и сейчас я считаю гениальным человеком и одним из самых крупных поэтов всего Кавказа, равным по таланту Важа Пшавела. Он мог бы помочь мне во многом. Но до 1938 года он почти не печатался, его произведения мне были мало известны. Жил он в далеком ауле. Впервые я увидел его только в предвоенные годы. Когда же я узнал его поэзию ближе, он стал моим учителем на всю жизнь. Я многим обязан ему, его замечательной по образности, сжатости, драматизму и правдивости поэзии, его мудрости и человечности. Он ведь еще задолго до моего рождения писал: «Мир — это такое горькое море, чьи только корабли в нем не тонули!» Все великие и малые поэты писали о молодости, но все равно Кязим Мечиев оставил о ней неповторимые строки, стоящие в одном ряду с лучшими образцами мировой лирики.

Молодость, ты была стрелою лука,
Я выпустил тебя.
За какую гору ты перелетела,
О какую ударилась скалу?

Молодость, ты была похожа
На шею весеннего фазана.
Или ты была той ланью,
Которую подстрелил я сам?

(Перевод подстрочный)

Таким же прекрасным остается для меня и его стихотворение о сером камне, которое Кязим написал в Дамаске в 1910 году — в дни своих скитаний по Арабскому Востоку. Приведу его тоже целиком, потому что я говорю о своих истоках.

Серый камень сорвался со скалы,
С гулом в темную бездну упал.
Ему вечно лежать в этой тьме,
Никогда не вернуться к родной скале.

Боже! Я молю тебя на заре,
Я молю тебя на закате:
Хоть в серый камень меня преврати,
Но верни к родному очагу!..

(Перевод подстрочный)

Наши молодые поэты в предвоенные годы в основном занимались абстрактной декламацией. А Кязим умел конкретно говорить о том, чем он жил, что его окружало, чем жили его соседи-аульчане, его многострадальный народ. Он умел выражать родную природу, суровую и прекрасную, неповторимый облик своей земли. Он писал конкретные стихи о своем кувшине, благословив труд мастеров, о своей собаке, корове, о воробье, писал об одинокой иве у горной речушки, об ослике, на натруженной спине которого открылась рана. Кязим беседовал со старостью и смертью. Писал о своей сакле, у очага которой он много лет слагал стихи. Во всем этом было много человечности и поэзии. Он создал трагические поэмы о бедствиях родного народа и о любви— «Раненый тур», «Бузжигит». Мечиев видел и выражал мир как большой поэт, как истинный художник. Он стал учителем для меня и как личность и как поэт наравне с другими крупнейшими разноязычными мастерами нашего времени — такими, как Гарсиа Лорка, Пастернак, Твардовский, Тихонов, Леонидзе, Чиковани.

Из произведений родной поэзии довоенного времени в моей судьбе сыграло положительную роль и стихотворение «Кавказ» единопольного со мной поэта карачаевца Исы Каракетова. В этом стихотворении была та худо-жественность, которая отсутствовала во множестве других рифмованных строк. Его до сих пор считаю одним из лучших в нашей поэзии. Оно пластично и написано замечательным живописным языком. Рано погибший на фронте поэт, к сожалению, не успел написать ничего равного своему «Кавказу».

В конце июня 1940 года, приняв экзамен у студентов, всем поставив «отлично» и «хорошо», подарив им по экземпляру первой своей книги, я уехал в Красную Армию. Между прочим, комиссия ни словом не возразила против поставленных мной высоких оценок. Я радовался. Студенты тоже. Я был молод, здоров и счастлив этим, несмотря на то что, как и многие, чувствовал все нарастающую угрозу войны. Об этом я писал в своем только что выпущенном сборнике.

Тогда мы не могли представить себе размеры предстоящих испытаний и бедствий. Мы в тот вечер никак не думали, что одни из нас погибнут на фронте, а другие через пять лет встретятся так далеко от родных гор... Не вернулись с фронта и многие из моих студентов. Как хорошо, что я ставил им высокие оценки. Они хорошо учились. Я уверен, что они также хорошо сражались на фронте, как учились. Но там оценки ставились без меня.

Уверенный в том, что я счастлив, крепок и нигде не пропаду, я ехал на военную службу в Заполярье, где летом ночь совсем не наступала. А я, привыкший к темным южным ночам, чувствовал себя как-то странно. Попал в пехотный полк. Это меня огорчило. Мне хотелось быть кавалеристом. Но через некоторое время изменил свое решение и попросился в парашютную часть.

Меня отправили в город Пушкин (бывшее Царское село). Там я учился прыгать с трамплина и вышки. Затем нас повезли в летние лагеря 201-й парашютно-десантной бригады имени С. М. Кирова. Там ясным августовским днем я впервые совершил прыжок с тяжелого бомбардировщика «ТБ-3». А потом прыгал с разных самолетов, с разной высоты — летом, весной, осенью, зимой — во всякую погоду. Эта трудная и опасная служба мне нравилась. Вместе со мной служили замечательные ребята — сильные, смелые, грамотные, хотя и несколько избалованные своим особым положением. Врачом в части был дагестанский горец Абусаид Исаев. Мы дружили. Абусаид был моим слушателем. Зная кумыкский язык, он прекрасно понимал мои стихи. Возможности писать у меня были. Командование части, в том числе командир бригады генерал Безуглый и комиссар Киреев, относилось ко мне хорошо. Ведь я был единственным членом Союза писателей СССР из всех, кто служил в этой замечательной бригаде за всю ее историю.

О гибели моего товарища — врача Абусаида — я узнал в чебоксарском госпитале из рассказа Николая Тихонова «Дети гор», напечатанного, кажется, в газете «Красная звезда» за 1942 год. Служба военных парашютистов была не на шутку опасная. Говоря словами Лермонтова — «немногие вернулись с поля!».

К весне 1941 года особенно обострилось тревожное предчувствие войны. В мае нашу бригаду направили в Латвию. Мы оказались в городе Даугавпилсе (Двинск). Там еще острее чувствовалась накаленность атмосферы. Мы тренировались, учились, начали заниматься немецким языком. Лагерь наш находился в лесу у небольшого озера. Помню, 21 июня я лежал на берегу озера и читал трагедию Самуила Галкина «Бар Кохба», напечатанную в журнале. А на следующий день столкнулся с войной лицом к лицу, воочию увидел ее жуткий лик. Фашисты нещадно бомбили город и аэродром. Наши самолеты не поднялись — говорили, что не было горючего. Склады с запасами одежды и продовольствия приказано было жечь. Мне привелось принимать участие в этом невеселом деле. Все вокруг было охвачено огнем. Советские войска отступали из Литвы. Двум группам парашютистов-подрывников приказали готовить взрыв двух чугунных мостов через Западную Двину. По одному из них ходили поезда, по другому — остальной транспорт и пешеходы. Мосты были большие и находились друг от друга не так далеко. Говорили, что буржуазная Латвия строила их пятнадцать лет. Я оказался в той группе, которой предстояло взорвать железнодорожный мост. Мы заложили тысячу килограммов взрывчатки. Приказано было взорвать мост в тот момент, когда головные танки врага вступят на него.

Фашисты бомбили день и ночь. Казалось, что горят камни и вода реки, но мосты стояли. Гитлеровцы берегли их для себя. В таком аду мы ждали более суток. Зеленая страна Латвия с ее маленькими хуторами в перелесках полюбилась мне. И как больно было видеть ее в огне и дыму! А урожай хлебов в то лето был редкостным. Я помню смертельные бои в высокой ржи, мокрой от дождя и крови. Мы ждали у моста появления фашистских танков. Самым тягостным было видеть не только отступавшие войска, но и

беженцев-стариков, детей, девушек с опухшими босыми ногами, с растрепанными волосами, видеть их обезумевшие глаза. Это было великое человеческое горе. Такое невозможно забыть.

Наконец показались немецкие танки. Они шли, на ходу обстреливая город. Мы все ждали, выполняя приказ. Головные танки вступили на мост. И он был взорван мгновенно. К нам подбежал боец-пехотинец, он плакал и кричал: «Что вы наделали! Мой друг на мосту остался!» Этот крик слышится мне до сих пор. И теперь мне видятся клубы дыма, куски металла и одинокий боец, бежавший с винтовкой в руках и вещмешком за спиной. Выполнив приказ, мы шли через горящий город в лес, к своим. Чудом уцелела вся наша группа.

Отступая к старой границе, мы участвовали в непрерывных жесточайших боях, не прекращавшихся ни днем, ни ночью. Наша бригада была самой боеспособной и отборной кадровой частью. Сражалась она действительно насмерть, с большой отвагой, нападала ночами на штабы гитлеровцев, громила их. Многие наши товарищи погибли в тех боях за Латвию, сильно поредели ряды замечательной бригады отважных парашютистов. Горько было видеть гибель друзей, стыдно было перед насилием за наше отступление. Мы ведь совершенно другим представляли себе начало войны. Но все оказалось иначе. Перед войной мы пели слишком радужные, слишком самоуверенные песни. Но авторы их, видимо, плохо представляли себе предстоящую войну... Умение учиться на пережитом — неоценимая вещь. Нам, литераторам, очень полезно помнить это.

В первые дни войны было не до стихов. Но все равно мне как-то удалось еще в Латвии написать два стихотворения. Я послал их в газету. Они были горьки, как и переживаемые дни и события. Нашу бригаду после того, как она прошла с боями Латвию, отправили в Ивановскую область на переформирование. Мы расположились в прекрасном сосновом бору. У меня уже было больше возможности думать и писать. Бригада стала корпусом, который находился в резерве Ставки Главного командования. Мы испытывали новый вид парашютов. Если до этого минимум высоты прыжков составлял тысячу метров, то теперь прыгали с высоты двести пятьдесят — триста. Это обеспечивало кучность посадки. Было очень опасно — земля находилась слишком близко. Если сколько-нибудь задерживалось раскрытие парашюта, грозила гибель.

Первого октября 1941 года нас подняла боевая тревога. Ранним утром весь наш корпус самолетами направили к городу Орлу, который уже успела занять танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. Брянский фронт был прорван фашистами, и они рвались к Туле и Москве. В сумке моей лежал томик избранных произведений Лермонтова. В самолете я вытащил книгу и смотрел на портрет поэта. Это утешало меня и связывало со всем мне дорогим, с моим родным Кавказом, поддерживало меня. Мы летели. Внизу паслись коровы, овцы. Отступали наши наземные войска. Беженцы

уходили на север.

День был очень тяжелым. Когда наши самолеты приблизились к Орлу, нас яростно атаковали немецкие истребители. наших не было видно. Внизу за городом горели аэродромы. Били вражеские зенитки. Я оказался с группой, которая приземлилась севернее города. Мы собрались и, окопавшись, заняли оборону. Перед нами была поставлена задача — задержать немцев до подхода свежих сил советских войск, не пускать фашистов дальше — к Туле и Москве.

Перед вечером подоспела танковая бригада генерала Катукова. Мы сели на танки и десантом двинулись к Орлу. От пыли невозможно было узнать лица сидевших рядом товарищей. Фашистские истребители низко реяли над нами. Наши истребители не показывались. Многие из наших ребят были ранены и убиты по дороге. Оставшиеся в строю, дойдя до окраин Орла, вступили в бой с немцами, оттеснили фашистов, несмотря на их превосходящие силы. Ночью шел непрерывный бой. Трудно было понять — где свои и где враг. Танки Гудериана рвались на север. Советские парашютисты вместе с танкистами стояли насмерть. Пришло утро. Наши части не отступили ни на шаг. Поле было усеяно трупами и подбитыми танками. Группа наших десантников, приземлившаяся в самом городе, была окружена танками и уничтожена. Еще в Прибалтике попадавших в их руки десантников гитлеровцы сразу расстреливали на месте, называя диверсантами. Об этом мы знали. Тяжелые бои у Орла продолжались несколько дней.

После Орла я лежал в чебоксарском госпитале. снова писал. Связался с Союзом писателей СССР. С лета сорок второго года уже начали переводиться на русский язык мои военные стихи. Они печатались в газетах «Правда», «Красная звезда», «Литература и искусство», в журналах «Знамя», «Красноармеец», «Огонек», «Дружба народов», часто передавались по радио: делались отдельные мои передачи; мне сообщали из Москвы, и я слушал их в госпитале.

В 1942 году особенно тяжело я переживал наступление гитлеровских орд на Кавказе и оккупацию родной Кабардино-Балкарии. Знать, что на вершине Эльбруса реет флаг со свастикой — было невыносимо. Я писал об этом Фадееву, просил оказать содействие в направлении меня на Кавказский фронт. Он ответил, чтобы пока я не думал об этом и лечился, присылал начальству госпиталя телеграммы, спрашивал о моем здоровье, просил проявлять максимум внимания. Я был признателен А. А. Фадееву, зная, однако, что я, молодой литератор, еще ничего особенного не сделал.

Выписавшись из госпиталя, я работал в запасной стрелковой бригаде заместителем политрука роты, а затем лектором. А ранней осенью слег снова. В начале ноября пришли телеграммы от Политического управления Красной Армии и Фадеева, чтобы меня направили в их распоряжение.

В десятых числах ноября 1942 года я впервые приехал в военную Москву. Сразу же с Казанского вокзала отправился на улицу Воровского. Пошел к Фадееву. Он был ласков со мной. Сказал много приятного о моих стихах. Позаботился о моем устройстве в

столице.

Кроме прочего, Александр Александрович сообщил мне, что он уже договорился с А. С. Щербаковым — в то время начальником Политуправления Красной Армии, и я длительное время буду в Москве, что я включен в список писателей, которые должны быть демобилизованы. Приводить сказанное Фадеевым о моих стихах не буду. Я отрицательно отношусь к тому, что нередко писатели в воспоминаниях цитируют лестные для них слова или письма знаменитых людей. Поэтому ничьи высказывания, касающиеся меня, будь то мнение Фадеева, Пастернака или Твардовского, цитировать не стану.

Александр Фадеев тогда казался нам очень ясным, но он фигура сложная в психологическом, морально-этическом и творческом планах. Таких людей нельзя характеризовать вскользь, мимоходом. Именно поэтому, понимая сложность его положения и обстоятельств, в которых он находился, я не имею права в моей краткой авто-биографии касаться иных сторон его деятельности и личности, кроме его отношения лично ко мне и к моей работе. С чистой совестью могу сказать, что Фадеев относился ко мне очень внимательно. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют его заботы о моей судьбе в годы войны. Через несколько дней после моего приезда в Москву он распорядился, чтобы организовали мой творческий вечер. На нем среди других литераторов присутствовали Фадеев, Пастернак, Асеев, Самед Вургун, Перец Маркиш, Мамед Рагим. Переводы моих стихов читали известные мастера — Вера Звягинцева, Михаил Зенкевич, Мария Петровых, Дмитрий Кедрин. Мне была оказана честь. Это я понимал.

Разговор идет об отношении ко мне, совсем молодому тогда литератору малочисленного народа. И такой разговор не является пустячным. Он подчеркивает одну из сторон многогранного характера выдающегося советского писателя, руководителя литературных сил страны в течение многих лет...

В дни пребывания в Москве я много раз выступал по радио, на вечерах в разных аудиториях и воинских частях.

Фадеев уговаривал меня демобилизоваться. Он хотел, чтобы я уцелел. В это дело включилась и Елена Дмитриевна Стасова, организовавшая первые переводы моих стихов на европейские языки. Я был благодарен этой умной женщине, которая работала при Ленине секретарем ЦК ВКП(б). Я бродил с ней по заснеженным улицам Москвы и удивлялся ее словам, обращенным ко мне. Она переоценивала меня. Я ведь был очень молод и не имел права считать себя настоящим поэтом, знал, что ничего серьезного мною не сделано. Но эти крупные люди были добры и внимательны ко мне. Не говоря уже о Стасовой, я тогда не понимал, почему так хорошо относится ко мне Фадеев, хотя и чувствовал, что чем-то я дорог и близок ему. Теперь, прочитав его записные книжки, я понял причину его внимания. Он был слишком хорошего мнения обо мне.

Поблагодарив Стасову и Фадеева за заботу, я отказался от демобилизации. Я не мог, не имел права считать себя лучше тех, кто сражался и погибал. Их так же ждали дома матери, как моя в Чегемском ущелье. На этот счет у меня тогда были твердые убеждения. К тому времени я уже видел многое и многое испытал. Быть парашютистом я уже не мог, но вернуться на фронт был способен. Тогда Фадеев принял другое решение. Он договорился, что я поеду на фронт военным корреспондентом. Решили, что я вместе с Константином Симоновым, также принимавшим участие в моей судьбе, отправлюсь на Кавказский фронт корреспондентом газеты «Красная звезда». Перед этим я поехал на несколько дней в Чебоксары, в госпиталь. Из-за тяжелого положения с транспортом вернуться к сроку не сумел. Симонов один уехал в Тбилиси.

Перед 1943 новым годом я уехал на Сталинградский фронт, войска которого уже наступали. В моей полевой сумке лежал пакет от Политуправления Красной Армии и характеристика Союза писателей. Их я вручил в Сталинграде начальнику Политуправления фронта. Меня направили в газету 51-й армии — «Сын отечества». И я уже скакал по зимним степям, догоняя наступающие войска. Редактор газеты С. Жуков и его заместитель, бывший редактор «Харьковского рабочего», В. Гильбух были рады моему приезду. Они знали мои стихи по центральной прессе. Но, честно говоря, мне, бывшему боевому парашютисту, сначала не понравилась работа в газете, она показалась мне скучной и незначительной. У меня не было никакого журналистского опыта. Я стал нарушать дисциплину военных корреспондентов — ходил в атаки, не имея на это права, к назначенному сроку не возвращался с передовой в редакцию. Бывали случаи, когда я забывал, что моя первая обязанность — посылать в газету нужные ей материалы, а не ходить в атаки. Каждому положено свое. Я как-то не думал о подобных вещах. Помню такой случай в Донбассе. Необходимо было взять «языка». Долго не удавалось. И его взяли как раз на том участке фронта, где я находился. Но я ничего об этом не сообщил в редакцию. Вместо этого воевал. Такого уж никак не мог переварить опытный газетчик Гильбух. Он, должно быть, уже не рад был, что к ним приехал такой сумасбродный стихотворец. И был прав. Дело дошло даже до того, что однажды, когда я вернулся с передовой, пробыв там втрое больше положенного, мы с Гильбухом серьезно поссорились и оба схватились за пистолеты. В этот момент зашел редактор Семен Осипович Жуков. Он нас разнял. Ругал своего заместителя, а не меня, хотя я и провинился перед начальством. Удивляюсь до сих пор, почему он никогда меня не корил, не наказывал, имея на это право. Он был умный и хороший человек. Позже я набрался опыта в новой для меня деятельности и даже заслужил реабилитацию со стороны Гильбуха. Мы с ним снова стали приятелями, и так уже продолжалось до конца. Да и в самом начале он ценил мои корреспонденции. Особенно ему понравился очерк «Руки убийцы».

В «Сыне отечества» я встретился с моим земляком — кабардинским поэтом Алимом Кешоковым. Это было приятно для меня в те тяжелые дни. В той же газете работал Вениамин Цезаревич Гоффеншефер, которого я знал еще до войны как литературного

критика. Теперь с ним, как и с Кешоковым, мы были вместе, делились своими радостными или горькими мыслями. Там же я познакомился с замечательным журналистом, умным и хорошим человеком Сергеем Зыковым. Общение с таким образованным и высоко культурным человеком, знатоком литературы, как Гоффеншефер, нам с Кешоковым было очень полезно. Мы полюбили его. Я многим обязан Вениамину Цезаревичу. Он нередко переводил для газеты мои стихи, написанные на родном языке, редактировал те из них, которые я писал по-русски.

С газетой «Сын отечества» я прошел по многим военным дорогам, участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Донбасса, Левобережной Украины, был свидетелем и участником упорнейших боев в районе Мелитополя— там, где шло кровопролитное сражение за Крымский перешеек. На небольшом участке было сосредоточено много войск. Туда мы приехали с Алимом Кешоковым. Дул сильный ветер, суховей. Освободив Мелитополь, советские войска продвигались к Перекопу и Сивашу, Пыль стояла на дорогах. Это было в конце октября. Возвращались беженцы со своим скарбом. Я наблюдал много горького и трагического. Но уже видно было лицо победы. Встречались толпы пленных. В боях за Мелитополь мы видели настоящее господство нашей авиации в воздухе. Советские танки наносили врагу сокрушительные удары. Все неузнаваемо изменилось по сравнению с начальным периодом войны. Через Аскания-Нова я поехал сперва к Перекопу, а оттуда на Сиваш. Перешел его осенней ночью с первыми подразделениями. Бойцы шли по грудь в воде, неся боеприпасы, противотанковые ружья, тянули легкие пушки по воде и топи три с половиной километра. Моста еще не было. Ни танки, ни тяжелые орудия перейти Сиваш не могли. Все же наши войска заняли плацдарм. Это была драматическая и грандиозная картина. Когда я думаю, что человек способен перенести самые большие трудности, каждый раз мне вспоминается Сиваш и особенно саперы. Какой это был громадный труд! Какие это были люди!

Так продолжалось пять месяцев — до начала апреля, когда развернулось наступление за освобождение Крыма. За эти пять месяцев я часто ездил на передовую — то на Перекоп, то на Сиваш, лазил по Турецкому валу. В 1943—1944 годах я много писал не только корреспонденции, статей, очерков, но и стихов. Мне кажется, независимо от их художественного уровня, в них чувствуется трагическое мужество того времени. Это я считаю основным их тоном. То, что я видел вокруг и переживал, никак не вязалось с бодростью. Мне очень нравятся прекрасные слова Мицкевича: «Какая жизнь — такой пусть будет песня». По моему мнению, и поэзия должна была вбирать в себя ту драматическую атмосферу, в ней должно было жить небывалое мужество людей, очень хотевших жить, но сражавшихся и погибавших за свою родину. Тут всякая ложь и фальшь звучали отвратительным кощунством. Немало и таких рифмованных строк появилось в годы войны. Делатели бездарных виршей находятся всегда. Зато были написаны «Василий Теркин» А. Твардовского, ленинградские стихи О. Берггольц, «Киров с нами» Н. Тихонова, лучшие стихи А. Суркова и К. Симонова. Трагическая правда учит углубленному отношению к жизни, стойкости и нравственной чистоте. Примерно такими чувствами жил я, когда писал свои циклы «Перекоп» и «Сиваш», в которых впервые за время войны прорвались в мои вещи эпические мотивы.

В конце марта дождливым днем, получив очередное задание от редакции, я отправился на передовую. Прежде чем перейти через Сиваш, мы заехали на полевую почту. Мне вручили письмо. Я сразу узнал почерк поэта Керима Отарова, хотя внизу на конверте значилась фамилия «Османов» и неизвестный мне адрес. Еще не раскрыв письма, я понял, что случилась беда...

Алим Кешоков, Гоффеншефер и другие мои товарищи старались поддерживать меня. Они понимали мое горе. Накануне наступления я с группой корреспондентов снова перешел Сиваш. Мои товарищи остались на большом плацдарме, я перешел через один из рукавов Сиваша на полуостров Тейтюбе, где за дни обороны бывал не раз. На рассвете началось наступление. После мощного артиллерийского обстрела позиций противника на врага пошла пехота. Я тоже пошел в бой, перейдя озеро, взял ручной пулемет убитого пулеметчика. Когда гитлеровцы были выбиты из окопов, наши пехотинцы стали гнать их дальше. Я поднялся на холм и бил из пулемета по фашистам. Тогда я мало думал об опасности.

Шли бои в Симферополе. Я прибыл туда ночью одним из первых корреспондентов. На второй день встретился с моими товарищами. В одном из крымских селений наконец я получил письмо от матери и сестер. Они уже были в Северном Казахстане.

Продолжалось наступление на Севастополь. Кешоков и я целый день находились с одной пулеметной ротой. Пули сыпались на землю с низкорослых деревьев, как град. Это было на Макензиевых горах, недалеко от Севастополя. Утром следующего дня я был ранен. Кешоков и Зыков отвезли меня в симферопольский госпиталь. Так я расстался с «Сыном отечества», вышел из строя. Через несколько дней в нашей маленькой офицерской палате неожиданно появился командующий 51-й армией генерал Крейзер. Я удивился. Он мне всегда нравился. Был молод, строен, серьезен. Я лежал в гипсе, не мог встать. Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез мне орден Отечественной войны II степени, которым я награжден. Я сказал генералу, что мой народ переселен, моя мать и близкие тоже. И, может быть, я теперь не имею права на орден. Крейзер ответил, что я был представлен к награде за мои личные заслуги. Он добавил: «От имени Президиума Верховного Совета СССР вручаю Вам орден и поздравляю Вас. Желаю скорого выздоровления». Я приподнял голову и ответил: «Служу Советскому Союзу».

В начале весны я был принят в члены Коммунистической партии. Секретарь парткомиссии привез мне в госпиталь партбилет.

В Симферопольском госпитале я пролежал месяца два. Потом меня отправили в Кисловодск. Утром рано санитарный поезд остановился в Пятигорске. Я увидел белый

Эльбрус! В Кисловодском госпитале лежал до конца октября. Из Союза писателей СССР не раз приходили запросы о моем здоровье. Тогда председателем Правления был Николай Тихонов. В госпитале я много читал. Достоевский, например, был прочитан целиком. Писал стихи. Родное Чегемское ущелье находилось совсем недалеко. Но там уже не было моей матери. Выписавшись, я поехал в Нальчик. Здесь я встретился с некоторыми старыми товарищами. Они отнеслись ко мне с участием, заботливо. Рана ноги еще не зажила, ходил на перевязку по знакомым улицам, опираясь на палочку. Я часто бывал в гостях у кабардинских крестьян. У них тоже находил сочувствие и заботу, хотя время было трудное во всех отношениях. Поехал в свое Чегемское ущелье. Пробыл там дней семь. На стенах домов читал надписи на балкарском языке: «Смерть фашизму!», «Не пропустим фашистских убийц в родные горы!», «Да здравствует Советская родина!»

К концу декабря из нальчикских госпиталей выписалась группа инвалидов-балкарцев, приехали и из других мест. Собрав всех, я уже хотел ехать в Баку, а оттуда в Среднюю Азию.

Но в конце декабря 1944 года пришла телеграмма от Тихонова. Он предупреждал, чтобы я никуда из Нальчика не выезжал до получения следующей его телеграммы. Через день Николай Семенович сообщил мне, что литфонд выслал деньги и чтобы я немедленно выехал в Москву. Денег я не просил и, честно говоря, хотел поблагодарить Николая Семеновича и отказаться от поездки. Но мне категорически возразили мои товарищи. К Тихонову у горцев было отношение особое. Мои друзья сказали, что раз Николай Семенович считает это нужным, надо ехать. Так и было решено. 31 декабря я выехал в Москву. Снова явился на улицу Воровского, пошел к Тихонову. Он сообщил мне, что в самые высшие инстанции послано ходатайство обо мне.

Примерно через месяц Н. С. Тихонов вызвал меня и сказал, что мне разрешено жить, где хочу (за исключением Москвы и Ленинграда). Попросив Николая Семеновича разрешить мне подумать и прийти к нему на следующий день, я сел в электричку и поехал в подмосковное село Черкизово — к Дмитрию Кедрину. Я рассказал ему все, добавив, что сам твердо решил ехать в Среднюю Азию — к своим. Дмитрий Борисович сразу же сказал: «Правильно!» На том и решили в бревенчатом домике, где я провел много вечеров, дружески беседуя и читая стихи с этим милым, честным, талантливым человеком. Там же Кедрин написал мне прекрасные стихи, которые теперь знают многие.

В назначенный час я пришел к Тихонову, сказал о своем решении. Он спросил:

— Хорошо ли подумал?

— Да,— ответил я.

— Потом не пожалеешь?

— Нет, что бы ни случилось!

Я снова обратился к Н. С. Тихонову с просьбой помочь получить разрешение перевезти мать, сестер и других ближайших родственников из Северного Казахстана, где они не переносили холода, во Фрунзенскую область, в Киргизию. И это было сделано. В то бедственное для меня время Николай Семенович очень помог мне, этим еще раз доказав верность своей давней любви к Кавказу, к его народам и горам.

Прожив в Москве более трех месяцев, в середине апреля 1945 года я уехал в Среднюю Азию. На Казанском вокзале меня провожали друзья. Среди них был и Кедрин. Я стоял уже на подножках вагона, а Митя говорил:

— Береги себя!

Мы видели друг друга в последний раз. Через несколько месяцев он погиб.

Во Фрунзе я приехал поздно вечером. Утром увидел горы. Они были рядом, как и в Нальчике. Я подумал: хорошо, что хоть не разлучился с горами. Пусть не Кавказские, но горы! Зеленый Фрунзе понравился мне. На улицах было много стройных тополей. У меня в кармане лежало письмо Николая Тихонова председателю Правления Союза писателей Киргизии. В нем Николай Семенович просил, чтобы меня обеспечили работой и жильем. Перед отъездом из Москвы друзья советовали мне обратиться также и к поэту Аалы Токомбаеву. Встреча с ним была мне приятна.

Вскоре я был принят на службу в Союз писателей. Работал. Писал для себя.

Балкарский и киргизский языки, как тюркские, близки. Но в похожих языках нередко одни и те же слова имеют разные значения. Этим и затрудняется полное освоение языка, похожего на твой родной. Сначала я не осмеливался братья за перевод с киргизского на русский. Меня уговорил известный романист Тугельбай Сыдыкбеков. Рослый и спокойный Тугельбай отнесся ко мне хорошо, поддерживал, выручал. Через полгода я стал выполнять подстрочники стихов и прозы. Мне очень помогал «Киргизско-русский словарь» профессора Юдахина. Спустя два года я уже совсем хорошо знал киргизский язык. С писателями говорил только по-киргизски. Бросил службу. Жил на литературный заработок. Вначале мне много помогал ныне покойный писатель, известный в Киргизии переводчик Узак Абдукаимов. В первый период моей работы он переводил даже вместе со мной, чтобы поддержать меня, хотя от этого он не имел никакой выгоды. Так могут поступать только такие бескорыстные, как Узак, люди. Потому они и называются хорошими.

Жизнь еще свела меня и сдружила с одним из лучших поэтов Средней Азии нового времени Алыкулом Осмоновым. К несчастью, он умер рано. Его поэзия нравилась мне своей самобытной образностью, новизной, верностью жизни родного народа, облику своей земли.

Во Фрунзе я переводил много, написал большое число статей и очерков. Я писал эту газетную прозу по-русски и должен сказать, что редакторы местных русских газет относились ко мне хорошо. Я даже имел удостоверение спецкорреспондента газеты «Советская Киргизия». Я был в дружеских отношениях и с большинством русских литераторов, работавших в Киргизии. Среди них были даровитые и милые люди: Сергей

Фиксин, Николай Удалов, Якуб Земляк, Елена Орловская, Вениамин Горячих, Борис Орлов. Особенно много помощи в моей фрунзенской жизни и литературной работе оказала Елена Дмитриевна Орловская, человек значительной культуры, журналистка и переводчица, настоящая русская интеллигентка.

Я работал чрезвычайно много. «О чем жалеть?» — сказал Пушкин. Довольно долгое время я работал председателем Русской секции Союза писателей, был консультантом, членом редколлегии русского журнала. Лучшие литераторы Киргизии относились ко мне замечательно, ценили мою работу. Одно время я переводил лермонтовского «Демона» для себя, чтобы учиться.

Человечность неистребима и непобедима. Человечество одичало бы без милосердия. Как прекрасна поговорка: «Мир не без добрых людей!» Отсюда идет основной тон моих книг «Раненый камень», «Мир дому твоему!», «Кизилловый отсвет». Поэзия рождается из пережитого, как искра из кремня, из убеждения, тесно связанного с опытом. Люди всегда умели трудиться и сражаться.

В Средней Азии, при всей занятости, я немало писал. Писал не только горькие стихи, но и живописно радостные о благе существования («Говорю с луной», «Говорю с дождем», «Родной язык», «Я пришел с гор» и другие). Писал о стойкости и мужестве. Такими были, в частности, «Охотникам, заблудившимся в ущельях», «Партизаны в ущелье», «Рисунок к заглавию», «Над книгой горских песен», «Ночью, когда шел снег». Этим я поддерживал себя, закалял дух, защищал свое человеческое достоинство. Лучшей вещью того периода считаю «Стихи, написанные в день рождения». В них я как бы выразил весь круг своих переживаний тех лет. Произведения киргизского периода составили вторую книгу двухтомного издания, осуществленного на родном языке в 1958 году. Некоторые критики во мне видят мудрого человека и литератора. Они ошибаются. Единственной моей мудростью было то, что я продолжал упорно учиться писать, несмотря ни на какие барьеры и трудности. Потом я убедился в том, что сделанное никогда не пропадает. Как трудно быть мудрым! Мне это не удавалось. Сожаления о наших заблуждениях всю жизнь сопровождают нас.

Я поехал на Второй съезд писателей СССР. После девяти лет снова увидел Москву.

Для преодоления всех трудностей человеку необходимо прежде всего здоровье. Я это понял, к сожалению, не сразу. Нередко бывает так, что мы самое необходимое начинаем понимать, когда уже поздно. Людям все дается через трудный опыт. Творческая зрелость тоже. Я счастлив тем, что в тяжелых условиях не махнул рукой на жизнь, не разуверился в ней. Мне оставались дорогими снежные вершины и примятая трава у дороги, поэзия Пушкина и музыка Бетховена. Я никогда не забывал о том, что не зря Прометей похитил огонь для людей, а в том, что порой на земле горят дома, Титан не виноват. Как хорошо, что никогда я не проклинал самую жизнь и не считал ее никчемной. Это один из центральных мотивов всего мной написанного. О моем отношении к жизни в трудные для меня времена достаточно веским свидетельством являются те же «Стихи, написанные в день рождения». Под ними стоит год 1949. Я старался не говорить жалких слов, унижающих достоинство человека.

В Средней Азии я начал поэмы «Огонь» и «Завещание». Закончил их на Кавказе. Они вошли в мою книгу поэм «Зеленые чинары». «Завещание» я отношу к лучшим своим вещам. О поэмах я заговорил, чтобы сказать про «Горскую поэму о Ленине». Я не мог не написать ее. Я не старался идти по пути Маяковского и других поэтов, писавших поэмы о Ленине. Я имел иные задачи. Мне хотелось рассказать о Владимире Ильиче языком моей земли, предельно просто и ясно, рассказать о великом вожде Революции. Может быть, теперь я это сделал бы лучше, но все равно рад, что написал такую поэму.

До сих пор я не касался очень важного вопроса в жизни каждого человека — отношения к женщинам, моих семейных дел. Они у меня долго были сложными. Всякое было. Но все равно я всегда оставался благодарным женщинам, как и жизни. Хотя они порой причиняли мне боль, но чаще дарили радость. Это я в разные годы старался выразить и в стихах. Женщина — одно из непостижимых и загадочных явлений жизни. Я постоянно считаю, что женщина выше меня, она была моей матерью, вскормила человечество. А что касается поэзии, то она и женщина никогда не расстанутся. Женщина не давала остыть очагу мировой лирики, ей мы обязаны шедеврами Пушкина и Петрарки, Тютчева и Лорки, Хафиза и Блока, Есенина и Пастернака.

После всяких драм в моих отношениях с женщинами, ранней весной 1951 года я женился на молодой девушке — горянке из Ингушетии Маке Дахкильговой, только что окончившей Педагогический институт. Отец ее был одним из интереснейших горцев, мужественным и благородным человеком. В первую мировую войну он был офицером русской армии, служил в Дикой дивизии, сражался на разных фронтах. Уже пожилым человеком пошел на фронт в Великую Отечественную войну и погиб на Ленинградском фронте. Читая его письма к жене с фронта, я удивлялся его грамотности и силе духа. Магомет-Султан стал для меня настоящим героем. Он был таким подлинным горцем, каких хорошо знал я с детства. Она, красивая, лучшим образом выражала женскую сторону сущности Кавказа. Я смотрел в ее глаза, и в них вставал передо мною родной Кавказ. Когда я познакомил ее с Борисом Пастернаком, он сказал о Маке: «Это же кавказская фреска!»

Женитьба вернула меня к более упорядоченной жизни. А это тогда для меня было очень важно. Мы жили в маленьком домике в центре Фрунзе. На нашем крохотном участке стояло большое тутовое дерево. Вокруг него мы сажали кукурузу и подсолнух, чтобы создать видимость кавказского двора. Это было хорошо. Летом я спал под деревом. Там же работал днем, постоянно видя зелень кукурузы и желтизну подсолнуха, как в детстве на огороде матери в Чегеме! У нас родился первый сын (теперь их трое), и жизнь стала у нас более размеренной.

Во Фрунзе обычно я читал много. То, что не мог достать на месте, присылали приятели из Москвы. Так я получил сочинения Бунина — приложение к «Ниве», — добротные переплетенные в три тома, «Героические жизни» Романа Роллана, монографию Грамбаря о Врубеле с прекрасными репродукциями и многие другие. Меня всегда выручали мои товарищи. Поэтому я верю в дружбу людей. Без людей могут жить только волки! Одним из многих писателей, близких мне тогда, был Ромен Роллан. Его трагический героизм стал необходимым для меня, как музыка Бетховена и Грига. То же самое можно сказать и о Стефане Цвейге.

Совсем с другой стороны был дорог, как что-то очень родное, Чехов. В те годы я дважды перечитывал его собрание сочинений. Кроме великих русских поэтов, моими постоянными собеседниками стали Мицкевич, Шевченко, Петефи, Лорка, Словацкий, Пшавела. А из композиторов особенно два разных и великих — Бетховен и Шопен.

Музыка и живопись играли и продолжают играть в моей жизни не меньшую роль, чем поэзия. У меня были великие друзья. Они вели меня за руку в трудные дни моей жизни. Тогда, кажется, я понял непоколебимую силу великого искусства человечества.

Как все мои земляки, в 1956 году я уже имел право ехать куда хочу. 27 мая, навсегда попрощавшись с городом Фрунзе, выехал в Москву.

Снова я увидел Москву. Поехал на хорошо знакомую улицу Воровского. Там застал Тихонова. Он, конечно, был рад моему возвращению. Я положил на стол перед Николаем Семеновичем большой том моих стихов. Тихонов тут же позвонил в издательство «Советский писатель». Книга моя вышла под названием «Горы». Сам Николай Семенович перевел ряд стихотворений. В том же 1957 году издательство «Молодая гвардия» выпустило мою книгу «Хлеб и роза». Еще до этого мои стихи были опубликованы Константином Симоновым в журнале «Новый мир» за 1955 год. А в «Дружбе народов» — в 1956 году.

Утром третьего дня моего пребывания в Москве раздался телефонный звонок в номере гостиницы. Я взял трубку.

— Это Кайсын Кулиев?

— Да, — ответил я.

Вдруг совершенно неожиданно для меня:

— С вами говорит Пастернак.

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

— Я узнал, что вы здесь. Приезжайте к нам в Переделкино сегодня. Будете обедать у нас.

Я обрадовался и растерялся. Еще с 1942 года мне было известно мнение Пастернака обо мне. Но, приехав в Москву, как-то постеснялся позвонить ему. А после его звонка поехал в Переделкино. Был солнечный день. Начало июня. Увидев меня, идущего вдоль ограды, Борис Леонидович быстрыми шагами пошел навстречу. Он у калитки пожал мне руку и обнял меня. Был приглашен и Владимир Луговской. Мы обедали. Потом Пастернак читал нам куски из «Автобиографии» и два перевода из Рильке. При всей его любви к этому поэту, он очень мало из него перевел. Луговской читал отрывки из книги «Середина века», которая еще не была издана. У меня в тот день было такое чувство, будто я попал в сказочный лес, где гудели никогда мною не виданные сосны. Сам я, разумеется, отказался читать. В тот день под переделкинскими соснами мы говорили о Гарсиа Лорке и Есенине. Пастернак любил их. Он обычно называл меня кавказским Есениным. Почему — не знаю.

Поэзия Пастернака была мне дорога с тех пор, как я стал взрослым. Я не мог не чувствовать такие строки:

Приходи по ночам
В синеве ледника от Тамары...

Или:

И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

Еще перед войной я был уверен, что подобные вещи в свой ранний период могут создавать только редкие поэты. Я не мог думать, что Пастернак примет такое участие в моей судьбе. А он писал мне, присылал книги с такими автографами, которые мог делать только он один. В своих письмах он учил меня чести и достоинству. Я постоянно чувствовал на своем плече его руку. Его голос доходил до меня в моей среднеазиатской дали, был опорой и поддержкой. Я хорошо знал и понимал благородные традиции русской интеллигенции поддерживать представителей культуры малочисленных народов. Если я продолжал учиться писать и вынес многие тяготы, то в этом огромная доля стараний Бориса Пастернака, наряду со всеми замечательными людьми, которых мне посылала судьба.

Мне очень повезло. Я пользовался незаслуженно хорошим отношением ко мне самой выдающейся части интеллигенции нашей страны. О некоторых я уже говорил. Не могу не сказать о редкостном доброжелательном отношении ко мне Александра Твардовского. Для меня он — великий русский поэт наших дней. Глубина, с какой его поэзия выражает народную жизнь, и небывалая ее естественность, простота и свобода несравненны. Это мог бы сказать я о Твардовском, если бы даже ничего, кроме «Василия Теркина» и «Дома у дороги», не знал из его вещей. Чем старше я становлюсь, тем больше постигаю могучую силу и мудрую народность его творчества. Не будет открытием, если я скажу, что ни в прозе, ни в стихах ничего равного «Василию Теркину» и «Дому у дороги» об Отечественной войне не написано. Серьезное отношение Твардовского к моей работе стало для меня нечаянной радостью. Это тоже я не мог предвидеть в те годы, когда писал только для себя. Недаром я подчеркивал, что судьба, при всей ее суровости, была милостива ко мне. Теперь я говорю себе, что в тяжелые дни стоило не опускать рук, не отречься от жизни и усилий, стоило верить в смысл бытия. Это поучительный урок не только для меня одного. Из поэтов Кавказа нашего времени мне были очень дороги два разных и прекрасных мастера — Георгий Леонидзе и Симон Чиковани. Их дружеское отношение было моей радостью, общение с ними стало благом, а их смерть — большой болью и горем для меня.

Своей дружбой одарили меня еще такие талантливые люди, как Ярослав Смеляков, Ираклий Андроников, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Михаил Дудин, Давид Кугультинов, Михаил Луконин, Алим Кешоков, Константин Ваншенкин, Реваз Маргиани, Ираклий и Грыгол Абашидзе.

У меня особая признательность тем поэтам, которые переводили и переводят мои вещи на русский язык, невероятно расширив круг моих читателей. Это Семен Липкин, Вера Звягинцева, Наум Гребнев, Яков Козловский, Олег Чухонцев. Они делают это с любовью ко мне и с уважением к нашему народу, к его культуре.

В начале июля 1956 года я выехал из Москвы на свою родину, которую не видел одиннадцать лет. Поезд подходил к Нальчику. Перед нашими глазами возникли балкарские горы. Я снова встретился с вечной мощью хребтов Кавказа. Говорил пятилетнему Эльдару:

— Смотри, сынок, Балкария в облаках! Вот она, наша родная земля, земля отцов!

А у самого щеки были мокры от слез. На второй день мы поехали в Чегемское ущелье. Молчали скалы. Молчал и я. Мы без слов понимали друг друга. Я без слов благодарил справедливость и разум.

Снова, глядя на родные горы, на вечную белизну их вершин, я думал о том, как хорошо, когда сбываются надежды...

Когда ты родился, как говорится, в рубашке и не знал никаких потрясений и бед,

которые пережили миллионы людей, то можно сказать, что самые суровые стороны жизни тебе не известны. А это не так часто бывало с людьми в наш сложный век. Давно и верно сказано: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Людям полезна только правда, будь она житейская, историческая или творческая. И искусство сильно только ею, она всегда остается его стихией, как свет и тень, как радость и боль. Учиться можно только на правде...

По возвращении из Средней Азии я был хорошо принят в Москве и в республике. Я был избран депутатом Верховного Совета СССР. За эти же годы вышло в свет много моих книг на родном и русском языках. Но особенно приятно мне русское двухтомное издание моих стихов и поэм, осуществленное издательством «Художественная литература» в 1970 году. Это значительное событие в жизни литератора, пишущего на языке малочисленного народа...

Я объездил почти всю нашу страну. Нет, пожалуй, такой республики, где бы я не был. Ездить мне нравится. Хочу подчеркнуть, что я не только приезжал в разные республики и с радостью видел красоту каждой земли, с благодарностью ел хлеб, пил вино, но и писал о культуре и литературе многих народов. Так было, к примеру, с Грузией, Арменией, Таджикистаном, Казахстаном, Туркменией, не говоря уже о России. Уважение к культуре разных народов, интерес к ним у меня в крови, и я считаю это благом и радостью для себя... Я уверен в том, что все ценное в культуре человечества должно быть достоянием всех народов.

Мне также приходилось побывать в странах Азии и Европы. И это было полезно для меня и для моей работы. Я люблю свой дом и мир.

Здесь я пытался рассказать не только о своей жизни, но и высказать мои взгляды на творчество. А впрочем, лучшим определением творческой поэзии и лучшей автобиографией художника являются его произведения.»

1966—1971

